

**ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА ЕРМОЛАЕВА**

кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Института истории, социальных и политических наук, Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Российская Федерация)  
*ksana27@yahoo.com*

## **СОВРЕМЕННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СТАЛИНИЗМА: МЕЖДУ НОВЫМИ ПОДХОДАМИ И АРХАИЧНЫМИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯМИ**

Анализируются две недавние масштабные работы крупных американских историков, посвященные истории сталинской России. При помощи детального разбора и контекстуализации данных работ в поле современной историографии сталинской России раскрывается, как новейшая методология сочетается в этих исследованиях с традиционными, даже архаичными подходами. В данном контексте изучаются и использование авторами методологических схем предыдущих поколений, подходов, распространенных в современных исследованиях, и рассматриваются общие тенденции в изучении темы. В частности, в одной из представленных работ, написанной Ю. Слезкиным, современный, постструктуралистский подход к изучению Советской России 1930-х годов, основанный на изучении языковых практик, внутреннего мира героев и процесса интернационализации ими официальной пропаганды через призму анализа литературных произведений, сочетается с давно уже звучавшими в историографии интерпретациями. Во второй анализируемой работе С. Коткин посредством использования метода предельного погружения в политическое и личное окружение Сталина пытается создать новую его биографию, но в результате выдвигает упрощенную версию истории 1930-х годов, интерпретируя основные события этого периода через призму перипетий дипломатических взаимоотношений Сталина и Гитлера и используя устаревшие методологические схемы для их объяснения. Ключевые слова: американская историография, современные подходы, традиционные интерпретации, история СССР, сталинский период

Несмотря на то что вряд ли можно найти более широко изученную тему в современной западной историографии России XX века, чем история СССР сталинского периода, интерес исследователей к данной теме не ослабевает. Идеальным объектом для историографического исследования являются 1930-е годы, поскольку включают в себя целую серию изменений и преобразований. Пятилетние планы, индустриализация и коллективизация стали временем создания централизованной экономической системы, масштабных социальных изменений, репрессий конца того времени. Особенно актуальны для американских исследователей вопросы большевистской идеологии, особенности ее восприятия населением, генезиса власти И. Сталина. Из поколения в поколение они апробируют новые методологические подходы к явлению, которое они называют историей сталинизма. При этом в изучении России сталинского периода все большее число американских историков склоняются к поиску новых методологических схем и решений в духе постструктурализма, сформировавшегося под влиянием работ французского философа-постструктуралиста М. Фуко. В рамках этого подхода изучаются идеология и личность в советскую эпоху, а также разнообразные культурные практики. В каком-то смысле этот подход стал

преемником ревизионизма в советской истории, акцентировавшего первостепенное внимание на социальной истории и социальных практиках, а идеологию и политику рассматривавшего преимущественно в совокупности с данными практиками. Исследователей, работающих в рамках подхода «нового ревизионизма», отличает интерес к языку, дискурсивным практикам, идеологии и привнесение литературных приемов в историческое исследование [7: 97]. В частности, с середины 1990-х годов историки разработали концепцию «советской субъективности» сталинского периода, связанную с дискурсивным подходом к индивидуальности в предвоенный период советской истории.

Одним из последних примеров методологических экспериментов в рамках данного подхода является работа Ю. Слезкина. Его книга «Дом правительства: Сага о Русской революции» официально посвящена «Дому правительства», известному в современной России как «Дом на набережной». Такое название закрепилось за комплексом домов для советской элиты после знаменитого романа Юрия Трифонова «Дом на набережной». До этого здание называли Дом ЦИК и СНК (Совета народных комиссаров), сейчас официальное название «Жилой комплекс «Дом правительства». После сталинских репрессий,

под которые попала значительная часть жильцов дома, в народе его прозвали «Улыбкой Сталина», «Ловушкой для большевиков», «Домом предварительного заключения».

Строительство городка для высшего советского руководства курировал сам глава правительства Алексей Рыков, выписавший из Италии известного архитектора Бориса Иофана. Это был городок будущего со своими кинотеатром (в «Ударнике» перед сеансом играл джаз и иногда пели Утесов и Шульженко), клубом, прачечной, поликлиникой, почтой, детсадом, в квартирах – невиданная для Москвы начала 30-х роскошь: круглосуточно горячая вода, газ, телефоны в каждой квартире. Это действительно постмодернистское произведение, со специфическим языком («Поиск убийц Кирова начался сверху и был направлен на падших ангелов» [15: 715]), историческими аллегориями (сравнение большевиков с библейскими персонажами, например Н. Бухарина с Иовом) и литературно-эмоциональным компонентом, сознательно привнесенным в историческое исследование. Об этом свидетельствует и определение Слезкина «сага», и его аллюзия, что «это историческая работа, любое сходство героев с вымышленными персонажами случайно» [15: V], и первостепенная роль художественной литературы и мемуаристики в качестве источников для ее написания. Помимо этого он активно использует источники личного происхождения: воспоминания, дневники и переписку его героев, архивные материалы, в основном из архивов Москвы. В первую очередь это материалы Архива музея «Дом на набережной», РГАСПИ и архива общества «Мемориал».

Хронологически работа охватывает практически весь XX век, хотя основное внимание уделено 1930-м годам, а период перестройки упоминается вскользь. Слезкин активно прибегает к историческим параллелям, не только вписывая сталинскую Россию в европейскую историю, но и находя аналоги процессов, происходивших в ней, в современной истории.

Уже с первых страниц проявляется проблема организации работы и баланса элементов исторического исследования и литературного произведения, неизбежная при выбранном автором подходе. В начале работы Слезкин излагает историю русского революционного движения, проводит обширный экскурс в историю мировых религий и размышляет о роли религии в истории с акцентом на миллениаризм. История прихода большевиков к власти освещается через призму биографических экскурсов видных большевиков, а истоки большевистской идеологии – через призму воспоминаний и литературы современников. Большевизм исследуется в контексте религиозных эсхатологических течений, а мировоззрение известных большевиков связывается с миллениаристским сектантством [15: 23]. Слезкин пишет:

Большевики – миллениаристская секта, готовившаяся к апокалипсису, а история большевизма – история «провалившегося пророчества», от очевидного успеха к величайшему разочарованию [15: XII].

С точки зрения автора, истоки большевизма как миллениаристской секты уходят в христианство, социализм и марксизм [15: 24], отразившиеся в мистическом настроении русской интеллигенции начала XX века. При этом периодически автор отвлекается на обсуждение других предметов, к примеру, истории архитектуры Москвы начала XX века. Когда же наконец он начинает свою историю «Дома на набережной», выясняется, что герои первой части книги по большей части не совпадают с обитателями этого дома и героями ее второй части. Автор признает, что в значительной мере выбор в его биографическом подходе обусловлен наличием или отсутствием источников о жизни тех или иных большевистских деятелей. Среди видных большевиков «Дома на набережной», чьи судьбы проследживает Слезкин, Алексей Аросев, председатель всесоюзного Общества культурных связей с зарубежными странами (остался его дневник, сохранный родственниками); Валериан Осинский, первый глава Верховного совета национальной экономики и один из идеологов левого крыла коммунизма (сохранилась его двадцатилетняя переписка с А. Шатерниковой); Арон Гайстер, заместитель министра сельского хозяйства; один из виднейших большевистских литературных критиков своего времени Александр Воронский.

Это не только история элитного жилого комплекса и его обитателей. Слезкин держит руку на пульсе страны: он описывает возвращение революции в качестве пятилетнего плана; строительство «Дома правительства» и всего остального Советского Союза; разделение труда, организацию пространства и личных привязанностей в рамках отдельных квартир; проблемы личной морали перед наступлением коммунизма и волшебный мир «счастливого детства» [15: XIII].

Часть книги, посвященная непосредственно истории «Дома правительства», кажется наиболее интересной. В ней приводится огромный массив необработанного архивного материала, связанного с историей дома: о его жильцах, обслуживающем персонале, описях имущества, способах содержания и функционирования. Жильцы стали заезжать с 1931 года, и к середине 1930-х годов их число было 2655. В 507 квартирах проживали преимущественно старые большевики и члены их семей [15: 482]. Это были высокопоставленные члены правительства, начиная с В. Молотова, министра торговли И. Вейтцера, а также высокопоставленные сотрудники НКВД, начиная с С. Миронова. Слезкин раскрывает подробности быта и образ жизни, социальную и культурную жизнь большевистской элиты, их

увлечения. Детально описывая условия жизни администрации и obsługi дома, Слезкин раскрывает, как управлялась эта жилищная мини-империя [15: 186–190, 392–394, 482–507]. На заднем плане автор пунктиром обозначает жизнь страны в целом: пятилетние планы, коллективизация, индустриализация, культурная революция, которые описываются как «канонические истории первой пятилетки». Опять же приводятся обширные экскурсы в историю архитектуры и застройки Москвы. Преимущественно события освещаются через призму воспоминаний современников и литературных работ. Приведенный автором архивный материал в большей своей части остался необработанным и непроанализированным.

Слезкин уделяет внимание и событиям, предшествовавшим репрессивной политике 1937–1938 годов, и Большому террору, разрушившему жизни большей части жителей «Дома на набережной». Часть книги с красноречивым названием «Последний суд» освещает чистку Дома правительства, последнее жертвоприношение старых большевиков, массовые операции против скрытых еретиков, основные различия между верностью и предательством, домашнюю жизнь профессиональных убийц, длинную жизнь вдов врагов народа, искупление детей большевиков и конец большевизма как миллениаристской веры [15: XIII].

«Закат» большевистской идеологии Слезкин датирует брежневским периодом и рассматривает через призму воспоминаний детей «Дома правительства»: многих из них постигло разочарование в «вере», отвернувшись от нее, они стали диссидентами и эмигрировали [15: 951].

Основной вопрос, который возникает после прочтения книги Слезкина: кто же является героем этой книги? С одной стороны, автор пишет, что основные герои его книги – люди, проживавшие в Москве в Доме на набережной в 1930-х годах, – видные большевистские деятели и члены их семей. С другой стороны, большая часть книги посвящена размышлениям о большевизме как об интеллектуальной и политической системе в контексте истории мировых религий. Чтобы облегчить восприятие этой огромной, более чем на 1000 страниц, книги, Слезкин выделяет в своей работе три сюжетные линии. Первая – «аналитическая», в центре которой его аргумент о том, что большевизм является миллениаристской сектой. Вторая – «литературная»: по ходу повествования он дает трактовку литературных произведений, которые предлагали интерпретацию происходивших событий. Третья сюжетная линия – «эпическая», где «читателям приходится думать о героях книги как о героях эпоса» [15: XII].

Несмотря на попытки систематизации материала, предпринятые автором во введении, основная проблема этой книги заключается в том, что по сути она включает в себя три разные книги,

созвучные сюжетным линиям, выделенным им в предисловии [15: XII]. Даже по стилю повествования, возможно, имело бы смысл разделить вторую часть, посвященную истории «Дома на набережной» и его обитателям, написанную в стиле традиционного исторического нарратива, фундированного ссылками на исторические источники, от литературно-философских рассуждений первой и третьей частей книги.

В рамках своего подхода автор задается вопросом, почему большевизм умер после первого поколения, почему его судьба была отличной от судьбы христианства, ислама, мормонизма и бесчисленных других миллениаристских вероисповеданий [15: 951].

С точки зрения Слезкина, основная причина, приведшая к краху русского марксизма, коренилась в сущности самой доктрины. А именно – в противоречии между

ролью сверхъестественного в марксистском видении истории, представляющем собой безоговорочную веру, и терминологическим аппаратом марксизма, социологическим и экономическим по своей сути, не ссылающимся на тайну или магию [15: 952].

Другой причиной, приведшей к краху большевизма, стало само государство Российское: партийная доктрина была недостаточно русской [15: 957]. Проблема коренилась в том, что «страна, над которой она возымела власть, была слишком русской по своей сути» [15: 957]. В трактовке Слезкина большевизм был русской реформацией: попыткой превратить крестьян в советских граждан, а советских граждан в самоконтролирующихся, морально бдительных субъектов. Но большевистская реформация не была массовым движением: она была

массированной миссионерской кампанией, проводимой сектой, которая оказалась достаточно сильной, чтобы завоевать империю, но недостаточно прочной для того, чтобы либо обратить варваров в истинную веру, либо репродуцироваться на родине. Поэтому советский век не длился дольше человеческой жизни [15: 957].

Таким образом, в основе книги Слезкина лежит несколько обновленная и модифицированная автором интерпретационная рамка большевизма как религии. Трактовки большевизма как специфической формы религиозности были распространены уже с начала XX века. Совершенно непонятно, почему автор полностью их проигнорировал. Марксизм неоднократно рассматривался с религиозной точки зрения [3: 256], а большевизм в разнообразных своих трактовках отождествлялся с религией [2], доведенным до предела иудаизмом [6: 433], «светской религией», «квази-религией» [1: 168]. На фоне этих проигнорированных Слезкиным интерпретаций специфика его собственной заключается в том, что, помимо регулярного использования термина «миллениаризм», в его трактовке религиозность

была уже изначально заложена в марксистской теории, взятой на вооружение узкой группой сектантов, волей случая захвативших власть в огромной стране. В то время как в других трактовках, в частности в объяснении Н. Бердяева, именно особенности «национального самосознания» породили русскую версию марксизма и сделали победу большевизма возможной: большевизм есть русское, национальное явление, это – наша национальная болезнь, которая и в прошлой истории всегда существовала, но в иных формах [2].

Помимо этого, Слезкин расширил временные рамки предмета изучения. В то время как большинство исследователей «большевизма как религии» ограничивались 1930-ми годами, он рассматривает большевизм как религию, полностью прошедшую жизненный цикл. Как он утверждает, на практике большей частью именно «дефекты» теории привели к «падению большевизма». Именно с этой точки зрения интерпретация Слезкина большевизма как религии проблематична из-за своей статичности. Автор пишет, что в случае большевизма секта (религиозное братство верующих, объединенное против окружающего мира) превратилась в священство (priesthood) (иерархическая корпорация профессиональных посредников между изначальным пророчеством и коммуной верующих, превратившихся в граждан. Но вера при этом осталась неизменной) [15: 951]. Представляется, что если настроения и мировоззрение большевиков накануне 1917 года могли быть сравнимы с мировосприятием религиозных фанатиков и адептов культа, то к концу 1920-х, и тем более к концу 1930-х годов пропасть между марксизмом, который Слезкин ставит за основу большевистского псевдорелигиозного мировоззрения, и большевизмом как властной установкой правящей элиты была уже огромной. Идеология правящей элиты постепенно превращалась в набор клише и штампов, использовавшихся сначала как политическое оружие борьбы за власть, а затем как ширма для административных рокировок и «зачистки политического поля» диктатором.

Помимо этого, полное отождествление большевиков с миллениаристской сектой является упрощением. Автор, таким образом, не делает различий между идеологией и религией, религией и сектой, религией и политической партией. Не всегда четко прослеживаются цели, методы и средства советского руководства. Рассуждая об их религиозной нетерпимости, Слезкин сбрасывает со счетов способность большевистского руководства инкорпорировать, а затем уничтожать несогласных (не-адептов) в целях упрочения режима. «Буржуазные специалисты», составившие костяк советского управленческого аппарата и интеллектуальной элиты с 1920-х годов, в конце 1930-х годов были уничтожены вовсе не

из сектантской религиозной нетерпимости большевиков, но в целях упрочения своей диктатуры Сталиным.

Специфика и слабость концепции Слезкина заключается и в его ретушировании личного фактора в истории большевистской России. В истории «Советского эксперимента» в трактовке Слезкина бледнеет, а порой и исчезает с авансцены роль Сталина. Зачастую в объяснениях процессов и событий его личные решения подменяются религиозной одержимостью большевиков. В частности, тот факт, что убийство С. Кирова послужило отправной точкой для запуска маховика репрессий, не может быть объяснен без участия роли Сталина [15: 713]. Аналогично специфический характер репрессий конца 1930-х годов Слезкин также склонен объяснять через призму «сектантства» большевиков. В частности, в его трактовке многие видные большевики, обвиненные в преступлениях, убийствах, покушениях на убийство, которых они не совершали, были уничтожены потому, что «в большевизме, как в христианстве или другой идеологии абсолютной преданности, мысли имели перво-степенное значение» [15: 731]. Исследуя репрессии, он трактует их логику как логику традиционного общества, где несчастья объясняются действием злых сил или ведьм; логика всех «охот на ведьм», которые возвращаются к традиции, предлагая исцеление посредством ритуальных жертвоприношений.

Таким образом, в его интерпретации борьба с «врагами народа» в СССР конца 1930-х годов мало чем отличалась от охоты на ведьм в Бамберге конца XVII века [15: 753]. Слезкин отождествляет инквизиторские практики большевиков с их аналогами в христианстве, буддизме и «постфрейдистских» вариантах [15: 779].

Возможно, следовало бы больше места уделить именно специфике репрессивных операций, коснувшихся «Дома правительства», и сократить общую часть, детально описывающую давно уже общеизвестные события и процессы, начиная с приказа № 00447 и его претворения в жизнь. Какова была роль обслуживающего персонала, какая часть его пострадала, какую роль играли доносы? Кроме того, эта «историческая» часть исследования несколько недоработанна. Представляется, что была бы уместна детальная статистика, отражающая данные по репрессиям в различных социальных слоях «Дома на набережной» и динамику заселения и арестов в 1937–1938 годах. В приложении имеется лишь «частичный список жильцов» [15: 883–984]. События, происходившие в «Доме на набережной» в конце 1930-х годов, отражали и более широкие процессы – в частности, очень высокий уровень социальной мобильности, неоднократную кардинальную смену политической элиты. Эти сюжеты не затронуты в работе Слезкина. Тем не менее дан-

ная часть содержит в себе немало интересных деталей. Слезкин передает лихорадочную обстановку массового переселения, охватившую «Дом правительства» с началом арестов, богатую палитру эмоций новых (и увы, большей частью временных) его жильцов в 1937 году, от эйфории и ощущения своей всеильности одних, в основной своей массе выдвинутых из провинции (в целом довольно массовое чувство среди жильцов в предыдущий период, как верно подмечает Слезкин), до страха и обреченности других, знавших обратную сторону переселения, с которыми они въезжали в новые квартиры. Преимущественно на основе воспоминаний детей дома об арестах родителей и родственников он воссоздает, как происходило разрушение «старой гвардии» «Дома на набережной» [15: 800]. На их основе он изучает определенные социальные и культурные практики, реконструируя «герменевтику духа» и выявляя духовный мир человека 1930-х годов. В духе исследований советской субъективности, проведенных А. Крыловой, И. Халфина и Т. Лахусена [7: 107], [13], автор изучает, как его герои осмысливали реальность через призму литературных и философско-публицистических произведений, ставя во главу угла морально-этическую проблему: дилеммы, стоявшие перед родственниками арестованных периода репрессий [15: 819–829]. Однако рассуждениям автора присуща некоторая пространность, а четкие выводы отсутствуют. Тогда представлялось бы уместным провести более конкретное исследование и сопоставление источников и литературы: насколько те или иные литературные произведения повлияли на мировоззрение конкретных людей и послужили образцом для их поступков. Представляется, что в своем исследовании автор упустил и другие важные сюжеты. Несмотря на то что большая часть книги посвящена «укоренению» большевизма как религии на примере выдающихся большевистских лидеров, автор даже не упоминает, что в их среде отношение к религии было неодинаково. В частности, после декрета 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства», который исключал указание на вероисповедание из всех официальных документов, последовал кратковременный период многообразия религий, сект, религиозных концепций, многие из которых вводились или поддерживались самими большевиками. В этом контексте помимо богоискательства можно упомянуть Свободную Трудовую Церковь (СТЦ), которую в 1920-х годах основали поэт-футурист А. Святотор и пензенский епископ И. Смирнов, а также радикальные эксперименты большевиков в сфере религии и эзотерики, в частности идеи А. А. Богданова в области «биомеханики трупов». Наконец, даже М. Тухачевский был сторонником славянского язычества и в 1920-х годах вынашивал идеи запрета христианс-

тва в Советской России и введения вместо него язычества как «природной» религии.

Остро встает и проблема выводов исследования. В заключении автор опять же обращается к литературе, занимаясь пересказом и разбором произведений Ю. Трифонова, в первую очередь «Дома на набережной», который, будучи посвящен жизни и судьбе двух поколений жильцов дома, судя по всему, и лег в основу работы собственно Слезкина. Рассматривает он и более поздние произведения Трифонова, в частности его романа «Старик». Сопоставляя размышления героев с дилеммами Фауста и Моисея, он приходит лишь к выводу о цикличности жизни. Помимо этого, хотелось бы увидеть и выводы исторического исследования «Дома на набережной».

Другой крупной работой в области истории Советской России стала последняя книга известного американского историка Стивена Коткина «Сталин: в ожидании Гитлера» [10]. Коткин является одной из наиболее ярких фигур в области англо-американской историографии Советской России во многом благодаря тому, что в середине 1990-х годах в значительной мере именно он положил начало «постревизионистскому» подходу в исследовании истории сталинизма. В своей книге о Магнитогорске как «микрокосме Советского Союза» [12] он провел лингвистический анализ источников личного происхождения в духе постструктуралистской методологии с целью реконструкции «герменевтики души», опираясь на теорию субъективности М. Фуко и идею «рутинности повседневной жизни» М. де Серто. Именно этот историк в свое время провозгласил, что в 1991 году пробил час для «заслуженного выхода тоталитаризма на пенсию» [11]. Не только крах СССР и свободный доступ к российским архивам проложили путь для нового подхода, но и «лингвистический поворот» в культурных исследованиях, в том числе истории, привел к рассмотрению «сталинизма как культуры» [11]. Учитывая новизну авторского подхода в середине 1990-х годов, тем более неожиданной с методологической точки зрения стала последняя книга Коткина. Она является второй частью трехтомной работы, посвященной изучению генезиса сталинизма и этиологии единоличной власти И. Сталина через призму его личности и биографии. В то время как в первом томе затрагивается период до 1929 года – время восхождения Сталина к власти, данное исследование начинается, по выражению самого автора, с периода «диктатуры» и заканчивается судьбоносной датой в истории Советской России – началом войны с нацистской Германией.

Коткин раскрывает перипетии политической борьбы конца 1920-х годов, «увенчавшиеся установлением единоличной диктатуры Сталина», воссоздает ход событий, приведший к репрессиям конца 1930-х годов, так называемому Большо-

му террору, исследует его скрытые пружины и основные последствия. Значительная часть исследования под названием «Три карты Монте» концентрируется на перипетиях международной дипломатии конца 1930-х годов. Наконец, заключительная часть книги, «Кода: “Маленький угол”, суббота, 21 июня», воссоздает буквально по часам события, предшествовавшие нападению Германии на СССР.

В своем подходе Коткин ставит фактор личности в истории во главу угла: «...если история определяется триадой геополитики, властных институтов и идей, именно личности запускают все это» [10: XIV]. Соответственно, данная работа посвящена изучению деятельности и менталитета И. Сталина в период, когда «темные стороны его натуры интенсивно дают о себе знать, когда он, научившись диктатуре, перешел к деспотизму, сопровождаемому массовым кровопролитием» [10: XIV].

Таким образом, авторский метод исследования – предельное погружение в политическое и личное окружение Сталина. Поскольку его нарратив организован вокруг личности Сталина, автор переходит от описания механизмов и проблем управления страной, административных реорганизаций и кадровых перестановок к анализу коллективизации, системы Гулага, советского кинематографа и внешней политики. Касательно последней, до начала третьей части, посвященной феномену Гитлера и отношениям СССР с нацистской Германией, особенно ярко представлено восточное направление, однако Коткин не вдаётся в пояснение своих исследовательских предпочтений по данному вопросу.

По степени разнообразия затрагиваемых предметов, способу изложения работа напоминает своеобразную «энциклопедию сталинизма». Это впечатление усиливается огромным справочным аппаратом и предметным указателем. Большей частью книга написана на основании научной литературы – как западной, так и российской. Ссылается Коткин и на московские архивы. В частности, на фонды РГАСПИ, где в ряде фондов (ф. 558 – личный фонд И. В. Сталина, ф. 11 – фонд Политбюро, фонды ближайших соратников Сталина) содержится основная масса информации по данной проблематике, уже давно доступная современным исследователям. Коткин сетует, что, помимо утерянных материалов Сталина (компрометирующие материалы на его ближайших соратников, личные записи), большая часть документов столичных архивов, включая переписку Сталина с соратниками, уже опубликована и осмыслена исследователями. Архивы же спецслужб, контрразведки, ведомства личной охраны Сталина почти полностью закрыты, а материалы, касающиеся военной политики и дипломатии, труднодоступны [10: XVII]. Соответственно, в данной работе Коткин по большей части опира-

ется на труды других историков сталинизма – О. Хлевнюка о механизмах власти и управления страной, В. Хаустова, Л. Самуэльсона, Н. Петрова и К. Скоркина об НКВД и многих других отечественных и западных исследователей, а также на опубликованные документальные коллекции. Ссылается автор и на некоторые региональные архивы. В основной массе упоминаемые им документы уже введены в оборот другими историками. Представляется, что в Центральный архив ФСБ историку попасть не удалось. Он приводит лишь несколько ссылок на документы из этого архива, копии которых хранятся и в других архивах либо введены в оборот историками.

Рассматриваемая книга, рассчитанная на аналитический синтез изучаемого предмета при помощи досконального исследования доступных источников и литературы, но не оснащенная новыми архивными источниками или методологическими решениями, содержит в себе ряд проблем. Автор зачастую прибегает к повторению известных сюжетов, уже описанных историками. Дипломатические же сюжеты, которым практически целиком посвящена последняя часть книги, в большинстве своем уже были досконально исследованы. Из-за огромного тематического охвата работе присуща и некоторая несистемность изложения. Какие-то важные темы, например, то, как Сталин выстраивал взаимоотношения со своим «ближним кругом» соратников, остались вообще не затронуты. Психологический портрет Сталина в трактовке Коткина несколько бледен, краткий экскурс в детство и юность неточен [10: 11–15].

В работе присутствует ряд терминологических и фактологических неточностей. Определяя основной способ выражения Сталина как «foul language» [10: 2], Коткин смешивает простонародный кураж со сквернословием. Между тем по большей части Сталин лавировал между ними. Неточна трактовка смерти О. Мандельштама [10: 169–170]. Многочисленные свидетельства подтверждают, что умер он не в ссылке, а в бараке пересыльного лагеря на территории современного Владивостока.

На фоне калейдоскопической смены предмета изучения Коткин выдвигает и свои главные тезисы – концепцию становления сталинской диктатуры к началу 1930-х годов и ее смены деспотическим правлением к концу десятилетия. При этом автором, к сожалению, игнорируется весь огромный пласт существующей историографии по теме. Если второй тезис содержит в себе терминологический, продиктованный индивидуальным предпочтением нюанс, то первый – важную, не совсем верно решенную автором проблему. В своем объяснении причин генезиса сталинской диктатуры [10: 490, 940] Коткин сближается с рядом современных американских историков-ревизионистов, утверждавших еще в 1990-х годах, что

«завершенный сталинизм» был необязателен, но его возможность была предопределена попыткой небольшой группы захватить и удержать власть [9: 59], [14: 204]. В интерпретации же того, когда именно это произошло, он отходит к историографическим основам еще более раннего, «дореволюционного» периода. Коткин говорит о единоличной диктатуре Сталина в 1929–1931 годы как о свершившемся факте [10: 76] и утверждает, что она была порождением «диктатуры ленинской» [10: 940]. Он считает, что в 1930-х годах Политбюро не имело никаких властных полномочий: Сталин либо манипулировал своими соратниками, либо они безоговорочно его поддерживали [10: 308]. Именно благодаря «диктатуре» в 1933 году, несмотря на откровенно провальную сельскохозяйственную политику и бурную активность Троцкого за границей, «Политбюро, а за ним и все остальные, сомкнули ряды вокруг диктатора» [10: 114–116]. Тем самым интерпретация Коткина сближается с устаревшими взглядами, популярными среди американских историков холодной войны, давно уже опровергнутой современными исследователями. В частности, О. Хлевнюк обозначил политические процессы этих лет как период «ограниченного коллективного руководства», или «условной диктатуры»<sup>1</sup>, просуществовавший до конца 1930-х годов, когда Политбюро практически перестало собираться как регулярно действующая структура. Развал же изначальной системы коллективного руководства к исходу 1920-х годов не привел автоматически к тому, что Сталин превратился в единоличного диктатора [8]. При этом сам Коткин неоднократно приводит свидетельства и цитаты из источников, свидетельствующие о нерешительности и неуверенности И. Сталина в принятии тех или иных решений в указанный период времени [10: 105–107].

Аналогично в своем объяснении причин и логики Большого террора Коткин опять же выдвигает несколько упрощенную версию событий, сближаясь с рядом американских исследований по истории СССР 1950-х годов и российских историков 1990-х годов. Он утверждает, что

террор руководился одним человеком с целью превратить «условную диктатуру» в «деспотизм», окончательно сломив волю соратников, которые имели право выбрать другого генерального секретаря партии, и удовлетворив жажду мести [10: 318–320].

При этом он игнорирует последние исследования по теме, в которых преобладают комплексные объяснения причин репрессий [8].

В чем заключается новизна данной биографии Сталина, чем она отличается от многочисленных предыдущих его биографий? Основные выводы Коткина касательно причин, особенностей становления власти Сталина и функционирования его диктатуры, а потом и «деспотизма» уже многократно звучали как в американской,

так и российской историографии. Аналогично интерпретация событий 1930-х годов через призму внешнеполитической ситуации и перипетий внешней политики, желания Сталина превратить Россию в мощную военно-промышленную силу, способную сохранить себя во враждебном международном окружении и насколько возможно расширить свои границы посредством «революции сверху», также неоднократно озвучивалась американскими биографами Сталина [17]. В рамках компаративного подхода СССР и гитлеровской Германии, ставшего уже традиционным для американской историографии, в том числе и акцентирующего внимание на исследовании личностей Сталин – Гитлер в эволюции их «диктатур» [4], [16], Коткин также не пришел к каким-либо радикально новым выводам.

Из малоизвестных фактов, приведение которых, собственно говоря, и является основным достоинством этой огромной, более чем на тысячу страниц, книги, интересны детальные выдержки из медицинских документов Сталина, посвященных состоянию его здоровья и хроническим недугам и диагнозам [4: 47, 365, 472–473, 743], [10: 73]. Представляется, что некоторые моменты требуют более детальной проработки: например, упоминаемое Коткиным покушение на Сталина, произошедшее на улице в Москве в 1931 году. Автор не сообщает, какова была реакция Сталина, как это повлияло на его планы.

Любопытны данные о физическом, моральном состоянии Сталина и его ближайших соратников в начале 1930-х годов [10: 325–327, 435–436, 498]. Больные, смертельно уставшие, эти люди тем не менее продолжали управлять огромной машиной, давшей сбой, повлекший бедствия и голод на Украине. Коткин задается закономерным вопросом: почему все продолжали исполнять приказы, почему режим не рухнул? В своем объяснении причин его устойчивости Коткин, помимо своей концепции диктатуры Сталина, подчеркивает роль идеологии в его победе [10: 159], а именно за счет широкой поддержки режима посредством массовой мобилизации при помощи мощной пропагандистской машины, интернационализации и манипуляции населением. Он развивает идеи, представленные в работе «Магнитная Гора» [12: 159, 297]. Тем самым он сближается, во-первых, с ревизионистами первой волны 1970-х годов начиная с Ш. Фицпатрик, которые подчеркивали «массовость» советского режима, и, во-вторых, возвращается к постревизионизму 2000-х годов, объяснявшему эту «массовость» при помощи индивидуальных тактик приспособления к режиму.

Но в целом, хотя Коткин и исходит из важного понимания, опять же подчеркиваемого современными историками, что утверждение власти Сталина и возникновение диктатуры в СССР – это был процесс, причем процесс сложный и

длительный, его основные выводы банальны. Практически все 1930-е годы он интерпретирует через «ожидание» Сталиным нападения Гитлера и репрессии. В контексте современных исследований разных аспектов советского общества и политики, экономики, роли И. Сталина в развязывании войны эта версия воспринимается как возвращение к историографическим основам холодной войны. Тем не менее, как было продемонстрировано выше, в традиционализме, даже архаичности Коткина присутствуют черты основных методологических подходов, использовавшихся в американской советологии с 1950-х годов. Помимо этого, Коткин, упоминая концепцию «альтернативной социалистической модерности», вписывает свою версию истории СССР сталинского периода в классификацию теорий модерности, выдвинутую известным американским историком-русистом М. Дэвидом-Фоксом [5]. В этом своем утверждении Коткин сближается с историками, придерживающимися концепции «альтернативной модерности» – А. Рибером, Ш. Плаггенборгом, Д. Петери и др.<sup>2</sup> Коткин объясняет судьбу Сталинской России при помощи концепции альтернативной «социалистической модерности», но при этом утверждая, что продолжала она традиции и тенденции России имперской [11: 396–397].

Какие же характерные черты, присущие современной американской историографии Советской России, можно выделить на основании анализа данных крупнейших работ о сталинизме, написанных двумя ведущими американскими историками и претендующими на определенное

«переосмысление» нашего знания о сталинизме? В первую очередь это повышенный интерес к политике и идеологии в расставлении акцентов в исследовании, в методологическом плане – лингвистическим и герменевтическим практикам, не только ярко проявившийся в работе Слезкина, но и упомянутый в работе Коткина как дополняющий его версию устойчивости режима. Помимо этого, необходимо упомянуть неискоренимость наследия консервативной парадигмы исследований, отягощенной бременем «тоталитарной теории», проходящей красной нитью через работу Коткина в его несколько упрощенном объяснении событий 1930-х годов через призму приоритетов сталинской диктатуры. Эта же черта присуща и интерпретации Слезкина, усматривающего истоки этих событий главным образом в революции 1917 года и «религиозной» большевистской ментальности. Тем самым он возвращается к «теории непрерывности», рассматривающей сталинизм как логическое продолжение революции и ленинского этапа советской истории, резко подвергнутой критике ревизионистами [7: 41].

Возможно, В. Меньковский прав в своем утверждении: несмотря на то что теоретические основы исследований пересмотрены в пользу постмодернистского представления о советской истории и личности, зачастую историки приходят к выводам, характерным именно для ранних этапов англоязычной историографии сталинизма [7: 107]. Очевидно, что новое поколение историков порой сознательно либо бессознательно обращается к историографическим парадигмам, продолжительное время считавшимся устаревшими.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Необходимо отметить, что единожды похожий термин употребляет и Коткин. Применительно к ситуации, сложившейся в 1936 году, ссылаясь на формальное право членов Политбюро избрать нового генерального секретаря, называет Сталина «диктатором на условном контракте» (р. 308) и приводит этот факт как один из мотивирующих факторов для Сталина в его желании развязать репрессии и «превратить диктатуру в деспотизм» (Там же). Однако он не распространяет этот термин на механизм принятия решений в советском руководстве конца 1920-х – начала 1930-х годов как ограничивавший личную власть Сталина.

<sup>2</sup> При этом сам М. Дэвид-Фокс относит Коткина к историкам с «теорией общей модерности» на основании своей интерпретации его первого тома исследования, посвященного Сталину. Представляется, что это не совсем верно. Видимо, Коткин хотел сказать, что процесс модерности, трактуемый им с геополитической точки зрения, был общим для всех европейских стран, но способ перехода в это состояние, избранный Сталиным, – специфическим.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арон Р. История XX века. М.: Ладомир, 2007. 1103 с.
2. Бердяев Н. Религиозные основы большевизма (Из религиозной психологии русского народа) [Электронный ресурс]. Режим доступа: [www.magister.msk.ru/library/philos/berdyayev/berdn031.htm](http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyayev/berdn031.htm) (дата обращения 30.06.2018).
3. Булгаков С. Сочинения. Т. 2. Избранные статьи. М.: Наука, 1993. 1351 с.
4. Булок А. Гитлер и Сталин: жизнь великих диктаторов: В 2 т. Смоленск, 2000.
5. Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? // Новое литературное обозрение. 2016. № 4 (140) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.nlobooks.ru/node/7551> (дата обращения 18.06.2018).
6. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 558 с.
7. Меньковский В. И. Советский Союз 1930-х гг. в англоязычной историографии. Сыктывкар, 2013. 220 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://illhkomisc.ru/wp-content/uploads/2014/11/menkovskij-i-dr\\_monografija.pdf](https://illhkomisc.ru/wp-content/uploads/2014/11/menkovskij-i-dr_monografija.pdf) (дата обращения 10.06.2018).
8. Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010. 479 p.
9. Gill G. Stalinism. New York, 1990. 108 p.
10. Kotkin S. Stalin: Waiting for Hitler, 1929–1941. New York, Penguin Press, 2017. 1184 p.



11. Kotkin S. 1991 and the Russian Revolution: Sources, Conceptual Categories, Analytic Frameworks // *Journal of Modern History*. 1998. Vol. 70. Issue 2. P. 384–425.
12. Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization*. Berkeley, 1995. 639 p.
13. Krylova A. The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies // *Kritika*. 2000. Vol. 1. Issue 1. P. 110–146.
14. Nove A, ed. *Stalin Phenomenon*. London, 1993. 232 p.
15. Slezkine Y. *The House of Government: A Saga of the Russian Revolution*. Princeton University Press, 2017. 1104 p.
16. *Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison*. Cambridge, New York, 1997. 369 p.
17. Tucker R. *Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928–1941*. New York, 1990. 707 p.

---

Ermolaeva O. E., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

### CONTEMPORARY AMERICAN HISTORIOGRAPHY OF STALIN'S RUSSIA: METHODOLOGICAL ADVANCES AND TRADITIONAL INTERPRETATIONS

The article analyzes two recent scholarly works by prominent American historians in the field of the Soviet history. Contextualizing them within contemporary American historiography of Stalin's Russia, it demonstrates that they combine recent methodology with the traditional, even archaic, interpretations. Further on, the article contemplates upon their use of the methodology of the earlier generations of Soviet historians, and upon recent trends as well as general tendencies in the field. In particular, the article juxtaposes the contemporary, postmodernist and poststructuralist approach of Yuri Slezkine, based on the studies of the "Soviet subjectivity" through the analysis of literary works, with his rather traditional generalizations and discusses the common features between them accordingly. In the second work under analysis, Stephen Kotkin attempts to create a new biography of Joseph Stalin through deep and detailed analysis of his political and personal surroundings. However, eventually he offers a rather simplified version of the Soviet history of the 1930s, where major events and processes of the 1930s are viewed through the lens of "Stalin vs. Hitler" history and explained with the help of the outdated conceptions.

**Key words:** American historiography, contemporary approaches, traditional interpretations, history of the USSR, Stalin's period

#### REFERENCES

1. Aron R. *History of the XX century*. Moscow, 2007. 1103 p. (In Russ.)
2. Berdyaev N. The religious foundations of Bolshevism (from the religious psychology of the Russian people). Available at: [www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn031.htm](http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn031.htm) (accessed 30.06.2018) (In Russ.)
3. Bulgakov S. *Selected works*. Vol. 2. *Selected articles*. Moscow, 1993. 1351 p. (In Russ.)
4. Bullock A. *Hitler and Stalin: lives of the great dictators*. Vol. 1, 2. Smolensk, 2000. (In Russ.)
5. David-Fox M. Modernity in Russia and the USSR: absent, common, alternative or intermingled? *New Literary Review*. 2016. No 4 (140). Available at: <http://www.nlobooks.ru/node/7551> (accessed 18.06.2018). (In Russ.)
6. Losev A. F. The dialectics of myth. Moscow, 2001. 558 p. (In Russ.)
7. Menkovsky V. I. Soviet Union of the 1930s in the anglophone historiography. Syktyvkar, 2013. 220 p. Available at: [https://ilhkomisc.ru/wp-content/uploads/2014/11/menkovskij-i-dr\\_monografija.pdf](https://ilhkomisc.ru/wp-content/uploads/2014/11/menkovskij-i-dr_monografija.pdf) 10 (accessed 10.06.2018) (In Russ.)
8. Khlevnyk O. *Master of the house: Stalin and his inner circle*. Moscow, 2010. 479 p. (In Russ.)
9. Gill G. *Stalinism*. New York, 1990. 108 p.
10. Kotkin S. *Stalin: Waiting for Hitler, 1929–1941*. New York, Penguin Press, 2017. 1184 p.
11. Kotkin S. 1991 and the Russian Revolution: Sources, Conceptual Categories, Analytic Frameworks // *Journal of Modern History*. 1998. Vol. 70. Issue 2. P. 384–425.
12. Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization*. Berkeley, 1995. 639 p.
13. Krylova A. The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies // *Kritika*. 2000. Vol. 1. Issue 1. P. 110–146.
14. Nove A, ed. *Stalin Phenomenon*. London, 1993. 232 p.
15. Slezkine Y. *The House of Government: A Saga of the Russian Revolution*. Princeton University Press, 2017. 1104 p.
16. *Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison*. Cambridge, New York, 1997. 369 p.
17. Tucker R. *Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928–1941*. New York, 1990. 707 p.

*Поступила в редакцию 02.04.2018*